

Проходимец

...Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал:

— Пустите прохожего ночевать?!

В ответ меня посылали к соседям, в «сборню», к черту; из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого — молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне:

— Иди-ка, иди прочь, пока цел! У меня муж дома...

Я понял ее так: очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствие мужа... Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну.

— Добрые люди! Пустите прохожего ночевать?!

Мне ласково ответили:

— Иди с богом — дальше!

А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут — осень, люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и наконец уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, — хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме.

Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь — это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях; между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться, — стоит только лечь на живот и проползти туда.

Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздается спокойно предупреждающий голос:

— Держите левее, почтенный...

Это было поистине неожиданно.

— Кто тут? — спросил я.

— Человек... с палкой!..

— Палка и у меня есть...

— А спички есть?

— И спички.

— Вот хорошо!

Я не видел в этом ничего хорошего, ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.

— А что, в деревне не пускают ночевать? — спросил невидимый голос.

— Не пускают, — сказал я.

— И меня тоже не пустили...

Это было ясно, — если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтоб выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.

— Не пустили, черти! — повторил голос. — Дубье! В хорошую погоду пускают, а вот в такую — хоть реви!

— А вы куда идете? — спросил я.

— В... Николаев. А вы?

Я сказал куда.

— Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю.

Спички отсырели; я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот наконец вспыхнул маленький огонек, — из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде.

Большие, умные глаза с усмешкой посмотрели на меня, потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне:

— Хотите курить?

Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете ее еще раз осмотрели друг друга, после чего мой соночлежник уверенно объявил:

— Ну, нам, кажется, можно не стесняться, — берите папиросу.

У него в зубах была другая — разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин. Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи — «поршни», как их зовут на Дону.

— Странник? — спросил я.

— Пешешествую. Вы?

— Тоже.

Он завозился, брякнуло что-то металлическое, — очевидно, чайник или котелок, необходимые принадлежности странника по святым местам; но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, которое всегда выдает странника, в его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность, и пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов «от писания». Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам, эту худшую разновидность неисчислимой «бродячей Руси», — худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную, алчущую деревню. К тому же и шел он на Николаев, где нет мощей...

— А откуда шагаете? — спросил я.

— Из Астрахани...

В Астрахани тоже нет мощей. Тогда я спросил его:

— Значит, вы от «моря до моря» ходите, а не по святым местам?

— И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место. Там всегда хорошо кормят... особенно, если со мнихами в интимность вступить. Наш брат Исакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?

— Пользуюсь.

— Кормовые места. А откуда идете? Ага! Путина протяженная. Запаливайте спичку, — еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится...

Было действительно холодно: и от ветра, который нахально врвался к нам, и от мокрой одежды.

— Может быть, вы есть хотите? Я имею хлеб, картофель и две жареных вороны.... дать?

— Ворону? — спросил я с любопытством.

— А вы их не едите? Напрасно...

Он сунул мне большую краюху хлеба.

— Я не пробовал ворон...

— Нате, попробуйте. Осенью они вкусные. И потом — гораздо приятнее есть ворону, выуженную своей рукой, чем хлеб или сало, поданные тебе рукой ближнего из окна дома его... который всегда, после того как примешь милостыню, — хочется поджечь!..

Это он резонно говорил, резонно и интересно. Употребление ворон в пищу было ново для меня, но не вызвало во мне удивления: я знал, что в Одессе зимой «раклы» едят крыс, в Ростове — улиток. Что тут невероятного? Даже парижане, находясь в осадном положении, с удовольствием ели всякую дрянь, а есть люди, которые всю жизнь находятся в осадном положении.

— А как же вы ловите ворон? — осведомился я.

— Не ртом, конечно. Их можно убивать палкой или камнем, но вернее — удить! Нужно привязать на конец длинной бечевки кусок сала, мяса или корку хлеба. Ворона схватит, проглотит и — тащи ее! Потом, свернув ей голову, ощипать, выпотрошить и, воткнув на палку, жарить над костром.

— Хорошо бы теперь посидеть у костра! — вздохнул я.

Холод становился ощутительнее. Казалось, что и сам ветер иззяб: он с таким болезненно дрожащим визгом бился о стены магазина. Порою вместе с ним прилетал вой собаки, тоскливый звук сторожевого колокола сельской церкви. Капли дождя тяжело падали с крыши на мокрую землю.

— Скучно лежать молча!.. — сказал мой соночлежник.

— А говорить — холодно, — заметил я.

— А вы суньте ваш язык за пазуху, согреется!

— Спасибо за совет...

— Вместе, что ли, пойдем? Нам по дороге...

— Пойдемте!

— Так познакомимся... я, например, дворянин Павел Игнатьев Промтов...

Отрекомендовался и я.

— Ну-с, так вот! Теперь спрошу: вы как попали на стезю сию? По слабости к водке, что ли?

— От скуки жизни...

— И это возможно... А вы знаете одно сенатское издание, именуемое: «Справки о судимости»?

— Знаю...

— Ваше имя там напечатано?

Я в то время еще нигде не печатался, о чем и заявил ему.

— И я тоже не пропечатан...

— Но надеетесь?

— Все в руке божией!

— А вы, кажется, веселый человек?

— О чем горевать?!

— Не всякий скажет это, будучи в вашем положении, — усомнился я в искренности его слов.

— Положение — сырое и холодное, но ведь оно изменится с рассветом. Взойдет солнце — ведь оно взойдет? Тогда мы вылезем отсюда и будем пить чай, поедим, согреемся... Разве плохо?

— Хорошо! — согласился я.

— Ну вот видите! Все дурное имеет свои хорошие стороны...

— Все хорошее — свои дурные...

— Аминь! — тоном диакона возгласил Промтов.

Ей-богу, с ним весело! Я жалел, что не могу видеть его лица, которое, судя по богатству интонации голоса, должно было очень выразительно играть. Мы долго говорили с ним о пустяках, скрывая за ними обоюдное желание ближе узнать друг друга, и я внутренне восхищался той ловкостью, с которой он, умалчивая о себе, заставлял меня высказываться пред ним.

Пока мы беседовали, дождь перестал, тьма незаметно начала таять; уже на востоке загоралась нежным блеском розоватая полоса рассвета. С рассветом вместе явилась и свежесть утра — приятная и бодрящая, когда она застаёт человека одетым в сухое в тёплое платье.

— Не найдем ли мы тут чего-нибудь для костра? — спросил Промтов.

Ползая по земле, мы поискали, но ничего не нашли. Тогда решили отодрать какую-то доску, не особенно крепко прибитую к своему месту. Отодрав, превратили ее в щепы. Затем Промтов предложил попробовать, нельзя ли провертеть дыру в полу магазина, дабы достать зерен ржи, — ибо если рожь сварить в воде, — получается хорошая пища. Я протестовал, заявив, что это неудобно: мы выпустим из магазина несколько пудов ржи для того, чтоб взять ее два-три фунта.

— А вам какое до этого дело? — спросил Промтов.

— Нужно, я слышал, иметь уважение к чужой собственности...

— Это, батенька, только тогда нужно, когда есть своя! И нужно только потому, что она для всякого другого — чужая...

Я замолчал, думая про себя, что этот человек должен быть крайним либералом в вопросе о собственности и что приятность знакомства с ним, наверное, имеет свои неудобства.

Явилось солнце, веселое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зеленой извилистой ленте деревьев вдали от нас.

— Там — река, — сказал мой знакомый.

Я смотрел на него и думал, что ему, должно быть, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой. Его глаза, темные и глубоко запавшие в орбиты, блестели спокойно и самоуверенно, а когда он немного прищуривал их, лицо его принимало выражение лукавое и сухое. В твердой и спорой походке, в

ранце из кожи, ловко прикрепленном на спине, во всей его фигуре видна была привычка к бродячей жизни, волчья опытность и лисья сноровка.

— Пойдем мы с вами так, — говорил он, — сейчас за рекой, верстах в шести, будет село Манжелея, а от него прямая дорога на Новую Прагу. Около этого местечка живут штундисты, баптисты и другие мечтающие мужички... Они прекрасно кормят, если им соврать что-нибудь утешительное. Но о писании с ними — ни слова! Они сами в писании, как дома...

Мы выбрали себе место недалеко от группы осокорей, набрали камней на берегу речонки, мутной от дождя, и на камнях развели костер. Верстах в двух от нас на возвышенности стояла деревня, солома ее крыш блестела розовым золотом. Острые тополя окрашены в краски осени. Тополя окутывал серый дым труб, затемняя оранжевые и багряные цвета листвы и нежно-голубое небо между нею.

— Я буду купаться, — объявил Промтов. — Это необходимо после такой скверной ночи. Советую и вам. А пока мы освежимся — чай вскипит. Знаете, нужно заботиться, чтобы естество наше всегда было чисто и свежо.

Говоря, он раздевался. Тело у него было породистое, красиво сложенное, с крепкими, хорошо развитыми мускулами. И когда я увидел его обнаженным, грязные лохмотья, сброшенные им с себя, показались мне более гнусными, чем казались до сей поры... Окунувшись в жгучую воду реки, дрожащие и синие от холода, мы выскочили на берег и торопливо одели наше платье, согретое у костра. Потом сели к огню пить чай.

У Промтова была железная кружка; он налил в нее кипящего чаю и предложил его сначала мне. Но черт, который всегда готов посмеяться над человеком, дернул меня за одну из лживых струн сердца, и я великодушно заявил:

— Спасибо! Пейте сначала вы, я подожду!

Я сказал это в твердой уверенности, что Промтов непременно захочет соревноваться со мною в великодушии и вежливости, — тогда я уступил бы ему и первый выпил бы чай. Но он просто сказал:

— Ну, хорошо...

И поднес кружку к своему рту.

Я отвернулся в сторону и стал пристально смотреть в пустынную степь, желая убедить Промтова, будто я не вижу, как смеются надо мной его темные глаза.

А он прихлебывал чай, жевал хлеб, вкусно чмокая губами, и делал все это мучительно медленно. У меня от холода даже внутренности дрожали, я готов был в горсть себе налить кипятку из чайника.

— Что, — засмеялся Промтов, — невыгодно деликатничать-то?

— Увы! — сказал я.

— Ну и прекрасно! Учитесь... Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и говорят, что все люди — братья, однако никто не пробовал доказать это метрическими справками...

— Уж будто вы именно так думаете?

— А чего ради я говорил бы не так, как думаю?

— Знаете, ведь человек всегда немножко рисуется, кто бы он ни был...

— Не пойму я, чем вызвал у вас такое недоверие ко мне!.. — пожал плечами этот волк. — Уж не тем ли, что дал вам хлеба и чаю? Так я сделал это не из братских чувств, а из любопытства. Вижу человека не на своем месте, и хочется знать, как и чем его вышибло из жизни...

— И мне тоже этого хочется... Скажите мне: кто и что вы? — спросил я у него.

Он пытливо посмотрел на меня и, помолчав, сказал:

— Человек никогда точно не знает, кто он... Нужно спрашивать у него, за кого он себя принимает.

— Хотя бы так!

— Ну... думаю, что я человек, которому в жизни тесно. Жизнь узка, а я — широк... Может быть, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри их живет тревожный зуд желания чего-то нового... Мелкие из них никогда не могут выбрать себе штанов по вкусу, и от этого всегда не удовлетворены, несчастны, крупных ничто не удовлетворяет — ни деньги, ни женщины, ни почет... Таких людей не любят: они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство ближних — пятачки, ходовая монета... и вся разница между ними только в годах чеканки. Этот — стерт, тот — поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я не пятак, — хотя, может быть, я семишник... Вот и все!

Он говорил, скептически усмехаясь, и мне казалось, что он сам не верит себе. Но он возбуждал во мне жадное любопытство, я решил идти за ним, пока не узнаю, — кто он? Было ясно, что это так называемый «интеллигентный человек». Их много среди бродяг, все они — мертвые люди, потерявшие всякое уважение к себе, лишённые способности к самооценке, и живут лишь тем, что с каждым днем своей жизни падают все ниже в грязь и гадость; потом растворяются в ней и исчезают из жизни.

Но у Промтова было что-то твердое, стойкое. Он не жаловался на жизнь, как это делают все.

— Ну что же? Идем? — предложил он.

— Идем!

Согретые чаем и солнцем, мы пошли берегом реки вниз по ее течению.

— А вы как добываете пропитание? — спросил я Промтова. — Работаете?

— Ра-ботаю? Нет, я до этого не охотник...

— Но как же?

— А — вот увидите!

Он замолчал. Потом, пройдя несколько шагов, стал насвистывать сквозь зубы какую-то веселую песню. Глаза его уверенно и зорко оглядывали степь, и шагал он твердо, как человек, идущий к цели.

Я смотрел на него, и желание понять, с кем я имею дело, сильнее разгоралось во мне.

...Когда мы вошли в улицу села, к нам под ноги бросилась маленькая собака и с громким лаем стала вертеться вокруг нас. При каждом взгляде на нее она, пугливо взвизгивая, отскакивала в сторону, как мяч, и снова бросалась на нас, ожесточенно лая. Выбегали ее подруги, но они не отличались таким усердием: тьякнув раз-два и скроются. Их равнодушие, кажется, еще более возбуждало рыжую собачонку.

— Видите, какая подлая натура? — сказал Промтов, кивая головой на ревностную собаку. — И ведь лжет она, понимает, что лаять не нужно, она не зла — она труслива, но — желает выслужиться перед хозяином. Черта чисто человеческая и, несомненно, воспитана в ней человеком. Портят люди зверей... Скоро наступит время, когда и звери будут такими же неискренними, как вот мы с вами...

— Благодарю, — сказал я.

— Не на чем. Однако мне нужно пострелять...

На его выразительном лице явилась скорбная мина, глаза стали глупыми, весь он согнулся, сжался, и лохмотья на нем встали стоймя, как плавники ерша.

— Надо обратиться к ближнему с просьбой о хлебе, — объяснил он мне свое превращение и стал зорко смотреть в окна хат. У одной хаты под окном стояла женщина, кормя грудью ребенка. Промтов поклонился ей и просительно сказал:

— Ненько моя! А дайте ж странным людям хлеба!

— Не прогневайтесь! — ответила женщина, окинув нас подозрительным взглядом.

— Чтоб у тебя в грудях сперло, суча дочка, — сурово пожелал ей мой спутник.

Женщина взвизгнула, как ужаленная, и бросилась к нам.

— Ах вы...

Промтов, не двигаясь с места, смотрел ей в лицо своими черными глазами, и выражение их было дико и зловеще... Баба побледнела, вздрогнула и, что-то пробормотав, быстро пошла в хату.

— Идемте, — предложил я Промтову.

— А вот подождем, пока она вынесет хлеба...

— Она вышлет на нас мужа с вилами.

— Много вы понимаете, — скептически усмехнулся этот волк.

Он был прав, — женщина явилась перед нами, держа в руках полкаравая хлеба и солидный шматок сала. Молча и низко поклонившись Промтову, она просительно сказала ему:

— Пожалуйста, возьмите, человеке божий, не гневайтесь...

— Спаси тебя боже от злого ока, от ворожбы и трясци!.. — внушительно напутствовал ее Промтов. И мы пошли...

— Послушайте, — сказал я, когда мы были уже далеко от хаты, — что это у вас какой странный... чтобы не сказать более, способ прошения?

— Самый верный... Если на бабу стрельнуть хорошенько глазами — она примет за колдуна, испугается и не только хлеба — всю мужнину «кишеню» целиком отдаст. Для чего мне просить и унижаться пред ней, когда я могу приказать? Я всегда думал, что лучше вырвать, чем выпросить...

— А не случилось, что вам вместо хлеба...

— По шее давали? Нет. Сунься-ка ко мне! У меня, батенька, есть с собой магическая бумажка — стоит мне ее показать мужику, и он — раб мой... Хотите, покажу?

Я держал в своих руках эту довольно грязную и измятую бумажку и видел: это было проходное свидетельство, выданное Павлу Игнатьеву Промтову, высланному административным порядком из Петербурга, для следования из Астрахани в Николаев. На бумажке была печать астраханского полицейского правления и соответствующие подписи, — всё как следует...

— Не понимаю! — сказал я, возвращая этот документ в руки собственника. — Каким это случаем вы, высланный из Петербурга, следуете из Астрахани?

Он рассмеялся, всей своей фигурой выражая сознание своего превосходства надо мной.

— А очень просто! Подумайте — меня высылают из Петербурга и, высылая, мне предлагают выбрать — за известными исключениями — место жительства. Я называю Курск, скажем к примеру. Являюсь в Курск, иду в полицию... Честь имею представиться! Курская полиция не может принять меня любезно: у нее своих хлопот — полон рот. Она предполагает, что пред ней ловкий мазурик, если от него не могли избавиться по силе и при помощи статей закона, а должны были, для его искоренения, прибегнуть к административным мерам. И она всегда рада сбыть меня куда-нибудь — хоть в омут головой! Видя ее затруднения, я прихожу к ней на помощь. «Так как, — говорю я, — я сам избирал место жительства, то не пожелаете ли вы, чтоб я и еще раз избрал его?» Они рады скачать меня с шеи. Я и говорю, что готов уйти из круга их попечения о неприкосновенности личностей и имущества, но мне, за мою любезность, следует дать на дорогу. Они дают рублей пять, десять, больше и меньше, смотря по настроению и характеру, — всегда дают с удовольствием. Лучше потерять пять целковых, чем приобрести в лице моем лишнее беспокойство, — не так ли?

— Может быть, — сказал я.

— Да уж — именно так! И они снабжают меня бумажкой, совершенно не похожей на паспорт. В различии же этой бумажки с паспортом и заключается

ее магическая сила. На ней написано: «Адми-ни-стра-тивно высланному из Пе-те-рбу-рга»! Я показываю ее старосте, который, по обыкновению, глуп, как пень, он в ней ни дьявола не понимает. Он боится ее: на ней печати. Я говорю ему: «На основании этой бумаги ты должен дать мне ночлег». Он дает. «Должен накормить меня!» Он кормит. Иначе он не может, потому что в бумаге изображено — из Петербурга, административно! Черт знает, что оно такое — «административно»? Может быть, это значит: послан тайно для расследования насчет кустарных промыслов, подделки фальшивой монеты, тайного винокурения, тайной продажи напитков? Или насчет того — как усердно посещают православную церковь?.. А может быть, что-нибудь касательно земли? Кто разберет, что такое значит — административно? Может быть, я кто-нибудь переряженный?.. Мужик глуп, что он понимает?

— Да, он мало понимает, — заметил я.

— И это очень хорошо! — убежденно заявил Промтов. — Именно таким он и должен быть, и в таком лишь виде он и необходим для всех, как воздух. Ибо — что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь — съедобное животное. Например, — я! Разве возможно было бы мне пребывание на земле без мужика? Для существования человека необходимы солнце, вода, воздух и мужик!

— А земля?

— Был бы мужик — земля будет! Стоит ему приказать: «Эй ты! Сотвори землю!» И — бысть земля. Он не может ослушаться...

Любил говорить этот веселый пройдоха! Мы давно уже вышли из села, прошли мимо многих хуторов, и уже снова пред нами стояла деревня, вся утопавшая в оранжевой листве осени. Промтов болтал — веселый, как чиж, а я слушал и думал о новом для меня виде паразита, разъедающего мужицкое призрачное благосостояние...

— Послушайте-ка! — вдруг вспомнил я одно обстоятельство. — Мы встретились с вами при таких условиях, которые заставляют меня сильно усомниться в силе вашей бумажки... это как объяснить?

— Э! — усмехнулся Промтов. — Очень просто: я уже проходил по сим местам, а — не всегда, знаете, удобно напоминать о себе...

Его откровенность нравилась мне. Я внимательно вслушивался в развязную болтовню моего спутника, пытаюсь определить, таков ли он, каким себя рисует?

— Вот пред нами деревня, — желаете, я покажу вам действие моей бумажки?
— предложил Промтов.

Я отказался от этого опыта, предложив ему лучше рассказать мне, за что именно его наградили бумажкой?..

— Ну, это, знаете ли, длинная история! — махнул он рукой. — Но я расскажу — когда-нибудь. А пока что — давайте отдохнем и закусим. Пищевой снаряд у нас есть в достаточном количестве, значит, идти в деревню и беспокоить ближнего нам пока не требуется.

Отойдя в сторону от дороги, мы уселись на землю и стали есть. Потом, разленившись под теплыми лучами солнца и дуновением мягкого ветра степи, улеглись и заснули... А когда проснулись, солнце, багровое и большое, уже было на горизонте, и на степь ложились тени южного вечера.

— Ну, вот видите, — объявил Промтов, — судьбе угодно, чтоб мы заночевали в этой деревушке...

— Пойдемте, пока еще светло, — предложил я.

— Не бойтесь! Сегодня ночуем под кровом...

Он был прав: в первой же хате, куда мы толкнулись с просьбой о ночлеге, нас гостеприимно пригласили войти.

Хозяин хаты, крупный и добродушный «чоловік», только что приехал с поля, его «жінка» готовила «вечеряти». Четверо чумазных ребятишек, сбившись в кучу в углу хаты, смотрели оттуда любопытными и робкими глазами. Дородная «жінка» быстро и молча металась из хаты в сени и обратно, внося хлеб, кавуны, молоко. Хозяин сидел против нас на лавке и сосредоточенно тер себе поясницу, кидая на нас вопрошающие взгляды.

Вскоре с его стороны последовал обычный вопрос:

— Где ж вы идете?

— Ходим, добрый человек, от моря до моря, до Киева города!.. — бойко отвечал Промтов словами старой колыбельной песни.

— Чего ж там, у Киеви? — подумав, спросил человек.

— А — святые мощи?

Хозяин посмотрел на Промтова и молча сплюнул. Потом, после паузы, спросил:

— А видкиля идете?

— Я — из Петербурга, он — из Москвы, — отвечал Промтов.

— От що? — поднял брови хохол. — А що этот Петербург? Кажуть люди, шо він на морі построен... и що его заливає...

Дверь отворилась, и явилось двое хохлов...

— А мы до тебе, Михайло! — объявил один из них.

— Що ж вы до мене?

— Та воно — таке діло... Що се за люди?

— Ось цей? — спросил хозяин, кивая на нас головой.

— Эге ж!

Хозяин помолчал, подумав и покрутив головой, объявил:

— Хиба ж я знаю?

— Мабудь, вы странники? — спросили у нас.

— Эге! — ответил Промтов.

Воцарилось молчание. Три хохла рассматривали нас упорно, подозрительно, любопытно... Наконец все уселись за стол и начали с треском уничтожать кроваво-красные кавуны...

— Мабудь, который из вас есть письменный? — обратился к Промтову один из хохлов.

— Оба, — кратко ответил Промтов.

— Так не знаете ли вы, часом, шо треба делать чоловіку, як з него хребет ноет и зудит до того, что ночью спати не можно?

— Знаем! — объявил Промтов.

— А що?

Промтов долго жевал хлеб, потом вытирал руки о свои лохмотья, потом задумчиво смотрел в потолок и, наконец, решительно и даже сурово заговорил:

Нарвать крапивы и велеть бабе на ночь тою крапивою растереть хребет, а потом смазать его конопляным маслом с солью...

— Что ж с того буде?— осведомился хохол.

— А — ничего не будет, — пожал плечами Промтов.

— Ничого?

— Как есть ничего!

— А поможет воно?

— Поможет...

— Спытаю... Спасибо вам...

— На здоровьечко!— пожелал Промтов совершенно серьезно. Долгое молчание, хруст кавунов, шепот детей...

— А слушайте вы, — заговорил хозяин хаты, — як того... воно не звистно вам... мабуть, краем вуха зловили вы в Петербурги або в Москви... насчет Сибири... можно переселяться чи не можно? Бо земскій, — бреше він чи справды, — бачил, шо зовсім не можно?

— Не можно! — рубит Промтов.

Хохлы переглянулись друг с другом, и хозяин пробормотал в усы себе:

— Хай им жаба в брюхо влизе!

— Не можно! — вновь объявил Промтов, и вдруг лицо его стало каким-то вдохновенным... — А потому не можно, что незачем ехать в Сибирь, когда везде земли — сколько хочешь!

— Та воно вирно, що для покойників земли везде у волю... для живых бы треба!.. — грустно заявил один хохол.

— В Петербурге решено, — торжественно продолжал Промтов, — всю землю, какая есть у крестьян и у помещиков, отобрать в казну...

Хохлы дико вытаращили на него глаза и молчали. Промтов строго осмотрел их и спросил:

— Отобрать в казну — зачем?

Молчание приняло характер напряженный, и бедняги хохлы, казалось, вот-вот лопнут от ожидания. Я смотрел на них, едва сдерживая злобу, возбужденную издевательством Промтова над бедняками. Но разоблачить пред ними его нахальное вранье — значило бы отдать его на избиение им. Я молчал.

— Та говорите ж, добрый чоловік! — тихо и робко попросил один из хохлов.

— Затем отобрать, чтоб правильно разделить всю землю между крестьянами! Признано там, — Промтов ткнул рукой куда-то вбок, — что истинный хозяин земли есть крестьянин, и вот сделано распоряжение: в Сибирь не пускать, а ожидать раздела...

У одного из хохлов даже кусок кавуна вывалился из руки. Все они смотрели в рот Промтова жадными глазами и молчали, пораженные его дивной вестью. И потом — через несколько секунд — раздалось одновременно четыре восклицания:

— Мати пречиста! — истерически вздохнула «жінка».

— А... мабуть, вы брешете?

— Та говорите ж, добрый чоловіче!

— Ось к чому цей год таки ярки зори! — убедительно воскликнул тот хохол, у которого болел хребет.

— Это — только слух, — сказал я, — может быть, все это окажется брехней...

Промтов с искренним изумлением взглянул на меня и горячо заговорил:

— Как слух? Как так брехня?

И полилась из уст его мелодия наглейшего вранья — сладкая музыка для всех слушателей, кроме меня. Увеселительно он сочинял! Мужики готовы были вскочить ему в рот. Но мне было дико слушать эту вдохновенную ложь, она могла накликать на головы простодушных людей большое несчастье. Я вышел из хаты и лег на дворе, думая, как бы разоблачить скверную игру моего спутника? Потом я заснул и был разбужен Промтовым на восходе солнца.

— Вставайте, идем! — говорил он.

Рядом с ним стоял заспанный хозяин хаты, а котомка Промтова топорщилась во все стороны. Мы простились с ним и ушли. Промтов был весел, пел, свистал и иронически поглядывал на меня сбоку. Я обдумывал речь к нему и молчал, шагая рядом с ним.

— Ну-с, что же вы меня не распинаете? — вдруг спросил он.

— А вы сознаете, что следует? — сухо осведомился я.

— Ну, разумеется... Я понимаю вас и знаю, что вы должны меня шпынять... Даже скажу вам, как вы будете это делать. Хотите? Но — лучше бросьте это.

Что дурного в том, что мужики помечтают? Они только будут умнее от этого. А я — выигрываю. Посмотрите, как они туго набили мне котомку!

— Но ведь вы можете подвести их под палку!

— Едва ли... А хотя бы? Какое мне дело до чужой спины? Дай боже свою сберечь в целости. Это, конечно, не морально; но какое мне, опять-таки, дело до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что никакого дела нет!

«Что же? — подумал я, — волк прав...»

— Положим, что они через меня потерпят, но ведь и после этого небо будет голубым, а море — соленым.

— Но неужели вам не жалко...

— Меня не жалеют... Аз есмь перекасти-поле, и всякий, кому ветер бросает меня под ноги, — пинает меня в сторону...

Он был серьезен и сосредоточенно зол, глаза его блестели мстительно.

— Я всегда так действую, а порой и хуже... Одному мужичку в Саратовской губернии от боли в животе я рекомендовал пить настоящее на черных тараканах деревянное масло, — за то, что он был скуп. Да мало ли я наделал злого и смешного во время моих странствий? Сколько я разных нелепых суеверий и мечтаний ввел в духовный оборот мужика... И вообще, я не стесняюсь... Зачем бы мне это? Ради каких законов, я спрашиваю? Нет законов иных, разве во мне!

Я, слушая его, думал, что с моей стороны будет очень умно, если я вспомню первый псалом царя Давида и сойду с пути этого грешника. Но мне хотелось знать его историю.

Дня три еще провел я с ним и в эти три дня убедился во многом, о чем раньше догадывался. Так, например, мне стало ясно, каким путем в котомку Промтова попали разные ненужные вещи, вроде подсвечника медного, стамески, куска кружев, мониста. Я понял, что рискую ребрами и даже могу попасть туда, куда обыкновенно попадают коллекционеры, подобные Промтову. Нужно было расстаться с ним... Но — его история!

И вот однажды, в день, когда дул свирепый ветер, сбивая нас с ног, и мы с Промтовым зарылись в стог соломы, дабы укрыться от холода, Промтов рассказал мне историю своей жизни...